



Эдмон де Гонкур

Братья Земганно

**Перевод с французского
Евгения Гунста**

ФТМ



Эдмон Гонкур
Братья Земгано

«ФТМ»

1879

Гонкур Э.

Братья Земгано / Э. Гонкур — «ФТМ», 1879

ISBN 978-5-4467-0621-1

25 октября 1878 года Эдмон де Гонкур записал в своем дневнике: «Мне следовало бы приняться за роман о клоунах, так как в настоящее время мой ум находится в смутном и зыбком состоянии, как раз соответствующим подобному произведению, несколько выходящему за пределы абсолютной реальности». В устах натуралиста это звучит отступничеством. В романе «Братья Земгано» писатель с поразительным проникновением описывает природу и состояние человека (режиссера или артиста), рожденного для цирка.

ISBN 978-5-4467-0621-1

© Гонкур Э., 1879

© ФТМ, 1879

Содержание

Предисловие	5
I	7
II	11
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Эдмон Гонкур

Братья Земгано

Госпоже Доде

Предисловие

Можно издавать «Западни» и «Жермини Ласертё»¹, можно волновать, возбуждать и увлекать некоторую часть публики. Да! – Но, по-моему, успехи этих книг – лишь блестящие схватки авангарда, великое же сражение, которое предопределит торжество реализма, натурализма, «этюда с натуры» в литературе, развернется не на той почве, какую избрали авторы этих двух романов. Когда жестокий анализ, внесенный моим другом г. Золя и, быть может, мною самим в описание низов общества, будет подхвачен талантливым писателем и применен к изображению светских мужчин и женщин в образованной и благовоспитанной среде, – тогда только классицизм и его охвостье будут биты.

Написать такой роман – роман реалистический и изящный – было нашей – моего брата и моей – честолюбивой мечтой. Реализм, – уж если пользоваться этим глупым словом, словом-знаменем, – не имеет, в самом деле, единственным своим назначением описывать то, что низменно, что отвратительно, что смердит; он явился в мир также и для того, чтобы художественным письмом запечатлеть возвышенное, красивое, благоухающее и чтобы дать облики и профили утонченных существ и прекрасных вещей, – но все это лишь после прилежного, точного, не условного и не мнимого изучения красоты, после изучения, подобного тому, какому за последние годы новая школа подвергла уродливое.

Но почему, скажут мне, не написали вы сами такой роман? Не сделали хотя бы попытки к этому? – А вот почему. Мы начали с черни, потому что женщина и мужчина из народа, более близкие к природе и дикости, суть существа простые, не сложные, тогда как парижанин или парижанка из общества, эти крайне цивилизованные люди, резко обозначенная оригинальность которых вся состоит из оттенков, полутонов, из неуловимых мелочей, подобных кокетливым и незаметным пустячкам, из которых создается особенность изысканного женского туалета, – требуют многих лет изучения, прежде чем удастся разгадать, узнать, уловить их, – и даже самый гениальный романист, поверьте мне, никогда не поймет этих салонных людей по одним рассказам приятелей, идущих в свет на разведки вместо него самого.

Кроме того, вокруг парижанина, вокруг парижанки все запутано, сложно, требует для проникновения чисто дипломатического труда. Обстановку, в которой живет рабочий или работница, наблюдатель схватывает в одно посещение; а прежде чем уловить душу парижской гостиницы, нужно протереть шелк ее кресел и основательно поисповедывать ее палисандровое или позолоченное дерево.

Поэтому изобразить этих мужчин, этих женщин и даже среду, в которой они живут, можно только при помощи громадного скопления наблюдений, бесчисленных заметок, схваченных на лету, целых коллекций «человеческих документов», подобных тем грудам карманных альбомов, в которых после смерти художника находят все сделанные им за всю жизнь зарисовки. Ибо, – скажем это во всеуслышание, – одни только человеческие документы создают хорошие книги: книги, где подлинное человечество твердо стоит на обеих ногах.

¹ *Западня* (l'Assommoir) – роман Золя (1877), *Жермини Ласертё* – роман братьев де-Гонкур (1865) – наиболее типичные произведения натуралистической школы.

Замысел романа, действие которого должно было происходить в большом свете, в свете самом утонченном, – отдельные хрупкие и мимолетные элементы этого романа мы медленно и кропотливо собирали, – я бросил после смерти брата, так как был убежден, что невозможно успеть в этом в одиночку... потом я вновь принялся за него... и он будет первым романом, который я намереваюсь издать в будущем². Но напишу ли я его теперь, в моем возрасте? Это мало вероятно... и настоящее предисловие имеет целью сказать молодым, что в *этом* теперь успех реализма, только в этом, а не в *литературе о подонках*, уже исчерпанной в наши дни.

Что касается «Братьев Земгано» – романа, который я издаю сейчас, – то это опыт в области поэтического реализма.³ Читатели жалуются на жестокие переживания, которым подвергают их современные писатели своим грубым реализмом; они не подозревают, что создающие этот реализм сами страдают от него гораздо сильнее и что они иногда по нескольку недель болеют нервным расстройством после мучительно и трудно рожденной книги. Так вот, в этом году я, – стареющий, недомогающий, бессильный перед захватывающим и тревожным трудом моих прежних книг, – переживал именно такие часы, то душевное состояние, когда слишком правдивая правда была неприятна и мне самому! – И на этот раз я создал фантазию, грезу, к которой примешалось несколько воспоминаний.⁴

Эдмон де-Гонкур
23 марта 1879 г.

² Гонкур имел в виду «Chérie» («Милочку»), вышедшую в 1884 г. и опереженную, вопреки первоначальному плану автора, «Актрисой» («La Faustin», 1882).

³ За реалистическую обстановку, которую я окружил свою фабулу, мне хочется во всеулышанье поблагодарить г. Виктора Франкони [*Франкони*, Виктор – внук Антуана Франкони, современник Гонкура, был выдающимся школьным наездником, историком, теоретиком и практиком кавалерийского дела и конного спорта.], г. Леона Сари [*Сари*, Леон, – псевдоним Наполеона-Эмманюэля Стефанини (род. 1824), известного театрального деятеля и давнего знакомого Гонкура. В «Дневнике» от 31 марта 1861 г. Э. де-Гонкур передает рассуждения Сари о театре за завтраком у Флобера.] и братьев Ханлон-Ли [*Братья Ханлон-Ли* – знаменитые английские клоуны, выступавшие с огромным успехом в Европе и Америке в 60–80 гг. прошлого века. Они являются создателями той мрачной психологической клоунады, о которой Гонкур говорит в главе XXXI.], являющихся не только превосходными гимнастами, которым аплодирует весь Париж, но также и знатоками, рассуждающими о своем искусстве как истинные художники и ученые. *Прим. автора*

⁴ Гонкур намекает на автобиографический элемент романа «Братья Земгано», рисующего в иной – цирковой – обстановке взаимоотношения двух братьев, имеющие много общего с отношениями братьев Гонкуров. В «Дневнике» Э де-Гонкура, в записи от 27 декабря 1876 г., читаем: «Я хотел бы создать двух клоунов, двух братьев, любящих друг друга, как любили друг друга мы с братом; они слили бы воедино свои позвоночники и всю жизнь изобретали бы невыполнимый трюк, который был бы для них тем, чем является для ученого разрешение научной проблемы. Сюда примешалось бы много подробностей из детства младшего из них и братская любовь старшего с оттенком отеческого чувства».

I

В открытом поле, у подножья верстового столба, врытого на перекрестке, сходились четыре дороги. Первая из них пролегла мимо замка в стиле Людовика XIII, где только что раздался первый зовущий к обеду удар колокола, и поднималась затем длинными извилинами на вершину крутой горы. Вторая, обрамленная кустами орешника и переходившая недалеко в плохой проселок, – терялась между холмами, склоны которых были усеяны виноградниками, а вершины лежали под паром. Четвертая тянулась вдоль песчаных карьеров, загроможденных решетками для просеивания песка и двуколками с поломанными колесами. Эта дорога, с которой сливались три другие, вела через мост, гудевший под колесами телег, к городку, расположенному амфитеатром на скалах и опоясанному большой рекой, один из изгибов которой, пересекая пашни, омывал край начинавшегося за перекрестком луга.

Птицы стремительно летали в небе, еще залитом солнцем, и испускали резкие отрывистые крики – краткие вечерние приветствия. Прохлада спускалась в тени деревьев, лиловый сумрак разливался по колеям дорог. Лишь изредка доносилось жалобное поскрипывание уставшей телеги. Глубокая тишина поднималась с пустых полей, покинутых человеческой жизнью до следующего дня. Даже река, покрытая рябью лишь вокруг купающихся в ней веток, казалось, утратила стремительность и текла, как бы отдыхая.

В это время на извилистой дороге, сбегавшей с горы, показалась странная фура, запряженная запаленною белую лошадью и гремевшая железом, как расхлябанная машина.

То была огромная повозка с почерневшим и проржавевшим цинковым верхом с намалеванной на нем широкой оранжевой полосой. В передней части повозки были устроены своего рода сени, где несколько стеблей плюща, растущего в старой заплатанной кастрюле, поднимались кверху в виде фронтона из зелени; плющ, кочующий с повозкой, сотрясался при каждом толчке. За повозкой следовала причудливая зеленая крытая двуколка, кузов которой расширялся кверху и выпячивался по бокам над двумя большими колесами, образуя подобие утолщенных боков парохода, вмещающих койки пассажиров.

На перекрестке с передней повозки соскочил маленький длинноволосый седой старичок с дрожащими руками, а пока он распрягал лошадь, – в арке, обрамленной плющом, показалась молодая женщина. На плечах у нее была накинута длинная клетчатая шаль, прикрывавшая ее торс, в то время как бедра ее и ноги были лишь обтянуты трико и казались обнаженными. Ее руки, скрещенные на груди, зябкими движениями поднимались по плечам, стягивая вокруг шеи шерстяную шаль, в то время как левая нога отбивала такт привычного марша. Так она стояла некоторое время, повернув голову красивым движением голубки; профиль ее стерся в тени, а на ресницах играл свет, и она обращалась к кому-то внутрь повозки с ласковыми и нежными словами.

Старик, распрягнув лошадь и сняв оглобли, заботливо подставил к повозке скамеечку, и женщина спустилась, взяв на руки прелестного ребенка в короткой рубашонке, более крупного и крепкого, чем обычно бывают грудные дети. Она откинула шаль и, дав грудь сыну, продолжала медленно ступать розовыми ногами; она направлялась к реке в сопровождении другой женщины, которая время от времени целовала голое тельце младенца и иногда наклонялась к земле, чтобы сорвать листок «зуб-травы», из которой выходит такой вкусный салат.

Из второй повозки вылезли люди и животные. Во-первых, облезлый пудель со слезящимися глазами, который от радости, что сошел на землю, пустился в погоню за собственным хвостом. Затем разные пернатые, радостно махая крыльями, разместились на крыше повозки, как на насесте. Потом выскочил подросток в матросской куртке, надетой прямо на голое тело, и помчался по полям на разведки. Вслед за ним вышел великан, шея которого была одинаковой толщины с головой, а лоб представлял собою целые заросли шерсти. Затем еще бедняга, оде-

тый в самый жалкий сюртучишко, какой только носило когда-либо человеческое существо; он втягивал понюшку табаку из бумажного фунтика. Наконец, когда, казалось, зеленая тележка уж окончательно разгрузилась, показался еще один чудной субъект, у которого рот доходил до ушей благодаря следам плохо стертого грима. Зевая, он стал потягиваться, потом, увидав реку, исчез в глубине повозки и показался снова с сачками для ловли раков.

То катясь колесом, то пускаясь галопом, эта странная личность, одетая в лохмотья цвета гусяного помета с черными разводами и вырезанными по краям зубцами, достигла воды. Тут росла, склонившись к реке, старая, наполовину сгнившая ива; ее расщепленный ствол был набит черноземом и мхом, а верхушка, еще живая, давала слабые побеги, увитые густой повиликой. Под ивой, на смятой траве, ногами рыболовов были вытоптаны ступеньки, образующие подобие лесенки. Паяц скользнул туда на животе и свесился над прозрачной водой, где прибрежный ил и рыжие корни ивы растворялись в синеве глубокой реки и где его причудливое отражение спугнуло целую стаю рыб, рассеявшихся подобно темным стрелам на сверкающих плавниках.

Женщина с ребенком у груди смотрела на удлиняющиеся на реке тени и на заходящее солнце, образовавшее в одном месте течения вертящуюся огненную полосу; она смотрела на плескавшуюся воду, отражавшую одновременно и синеву неба, и багрянец заката; смотрела остановившимся и глубоким взглядом на бесконечную беготню длинноногих водяных пауков по искрящейся поверхности реки и изредка вдыхала раздувающимися по-звериному ноздрями запах мяты, который тянул по берегу поднявшийся ветерок.

– Эй, Затрещина, к плите! – закричал басом Геркулес; он сидел на ящике посреди лужайки в *геройских* башмаках с меховой оторочкой и чистил с бесконечной нежностью картошку ласковыми движениями рук.

Затрещина вернулась к повозкам, а следом за ней подошла женщина с ребенком и приняла участие в приготовлении ужина, молча, ни к чему не притрагиваясь и отдавая распоряжения так, будто играла пантомиму.

В это время седой старик, привязав обеих лошадей к столбу, надел пунцовую гусарскую куртку с серебряными нашивками и позументом и, подхватив лейку, направился к городу.

Синева неба стала совсем бледной, почти бесцветной, лишь с легким желтым оттенком на востоке и красноватым на западе; несколько продолговатых темно-коричневых облачков тянулось на зените, напоминая бронзовые клинки. С умирающего неба незаметно спускалась в еще не угасший дневной свет та сероватая дымка, что сообщает неясность контурам предметов, делает их смутными и расплывчатыми, стирает формы и очертания природы, засыпающей в этом сумеречном забытьи, – начиналась грустная, нежная и неуловимая агония света. Только в городке с поблекшими домиками фонарь у моста еще мерцал отблеском дневного света, отражавшимся в его стекле, а церковная колокольня с узкими овальными окнами уже вырисовывалась лиловым силуэтом на тусклом серебре заката. Вся местность стала казаться лишь смутным и бесформенным пространством. И река, принимавшая то густо-зеленые оттенки, то цвет грифельной доски, превратилась теперь в бесцветный журчащий поток, куда черные тени деревьев бросали расплывавшиеся пятна туши.

Тем временем усиленно готовился ужин. На лужайку, к реке, была вынесена плита, где кроме картошки, очищенной Геркулесом, варилась еще какая-то еда. Паяц опустил в котел нескольких раков, которые, падая, скрипели клешнями о медное дно. Старик в гусарской куртке вернулся с лейкой, полной вина. Затрещина расставила зазубренные тарелки на ковер, служивший обычно для акробатических упражнений, а вокруг ковра в ленивых позах расположились члены труппы и вытащили из карманов ножи.

Ночь овладела умирающим днем. В домике на конце главной улицы города блестел одинокий огонек.

Вдруг из поросли выскочил голый до пояса юноша; в свернутой фуфайке он нес отбивающегося зверька. При виде зверька на лице женщины в трико засветилась почти жестокая радость, и, казалось, на мгновение ей припомнилось что-то из прошлого, к которому она мысленно обратилась.

– Дайте глины! – воскликнула она низким грудным голосом, в котором звучали странные и волнующие нотки, и захлопала в ладоши.

С кошачьей ловкостью, ни разу не уколовшись, она быстро обложила живого ежа глиной, превратив его в шар, – в то время как старик разжег из сухих веток громадный пылающий костер.

Труппа приступила к ужину. Мужчины пили вкруговую из лейки. Затрещина ела стоя, поглядывая на плиту и подчас запуская руку в кушанья, которые передавала к столу. Женщина в трико положила ребенка около себя на край ковра и не столько ела, сколько любовалась дорогим существом.

Ужинали молча, как уставшие и проголодавшиеся люди, поглощенные к тому же зрелищем летней ночи на берегу реки, перелетами ночных птиц, всплесками рыб, мерцанием звезд.

– Эй, с моего места! – буркнул паяц, грубо оттолкнув человека в жалком сюртучке – тромбониста труппы. И паяц стал жадно есть, а тем временем в померкшем небе послышался далекий звон, казавшийся звоном хрустального колокола, – медленные удары, небесные звуки, полные нездешней грусти, настолько сливавшиеся с вечерним воздухом, что, когда они прекратились, казалось, будто ухо их все еще слышит.

Глина, в которой пекся еж, обратилась в кирпич; Геркулес разбил его ударом топора, и зверек, с которого сходила кожа вместе с колючками, был поделен между присутствующими.

Женщина в трико взяла себе маленький кусок и, смакуя, стала его медленно посасывать.

Ребенок, лежавший около матери, ножками и ручками понемногу растолкал вокруг себя тарелки и, став полноправным и единственным хозяином ковра, заснул животиком кверху.

Все наслаждались прекрасным вечером, наполненным стрекотанием кузнечиков и шелестом листвы в вершинах высоких тополей. Среди дремотной задумчивости ночи дуновенья теплого ветерка пробегали по лицам, как ласковые и щекочущие прикосновенья. Иногда из-за ручья, поросшего кустами гигантской крапивы, листья которой в этот час казались вырезанными из черной бумаги, вылетала птица; она пугала боязливых женщин, и в этой пугливости была своя доля прелести.

Вдруг луна, выступив из-за деревьев, осветила спящего ребенка, котооый лениво задвигал изящным тельцем, словно лунный свет щекотал его своими белыми лучами. Он улыбался каким-то невидимым предметам и мило ловил что-то пальчиками в пустоте. А когда он проснулся и стал двигаться быстрее, – его тело обнаружило такую гибкость и эластичность, что можно было подумать, что у него гнущиеся кости. Он брал ручонкой ножку и тянул ее ко рту, как бы намереваясь пососать.

Его прелестная головка с тонкими белокурыми завитками, ясные глаза в глубоких и нежных орбитах, вздернутый носик, точно помятый грудью кормилицы, надувшиеся губки, оттопыренные щеки, нежный выпуклый животик, мягкие ляжки, покрытые пушком ножки, пухлые ступни и славные ручонки, – все упитанное его тельце со складками на затылке, вокруг рук и ног, с ямочками на локтях и щеках, – тельце, вскормленное молоком, озаренное опаловым светом луны, придававшим ему прозрачную бледность, – все это создавало очаровательную картину, достойную вдохновения поэта.

Пока мать любовалась младшим сыном, юноша в матросской куртке, стоя коленом на земле, пытался поймать на палочку шар и удержать его в равновесии, затем, улыбнувшись своему маленькому брату, начинал фокус сначала.

В ночной тиши, на лоне природы все инстинктивно возвращались к своим дневным занятиям, к своему ремеслу, которое завтра должно дать хлеб всей труппе.

Старик в гусарской куртке сидел в повозке и перебирал старые бумаги при свете сальной свечи.

В стороне, на лужайке, еще освещенной луной, Затрещина репетировала сцену пощечин с тромбонистом, который должен был выступить на следующий день в комической интермедии; женщина учила простачка, как хлопать в ладоши, делая вид, что получаешь пощечину.

А паяц снова вернулся к сачкам. И, сидя под ивой, тонкая серая листва которой образовала над его головой веер, казавшийся огромной запыленной паутиной, – он дремал над зеленоватой глубиной, свесив ноги в воду, где у самого дна спало отражение звезды.

II

Директор труппы, старик в гусарской куртке, синьор Томазо Бескапе, был когда-то рыжим, а теперь уже почти совсем седым итальянцем, с подвижными и постоянно дергающимися, словно от тика, чертами лица, с острым взглядом, рыхлым носом, язвительным ртом, бритым подбородком, – с лицом мима, обрамленным длинными волосами цвета пронизанной солнцем пыли.

У себя на родине Томазо Бескапе был поочередно то поваром, то певцом, то оценщиком кораллов и лаписа-лазури, то счетоводом у торговки четками на *via Condotti*,⁵ то чичероне, то чиновником посольства, – но однажды этот беспокойный искатель приключений попал на Восток, где, благодаря знанию всех языков и всех диалектов, стал драгоманом палестинских туристов; потом, испробовав еще бесконечное число никому неведомых и необыкновенных профессий, – он сделался бродягой-лупёром⁶ в Малой Азии.

Странной натурой был этот итальянец, неистощимый в выдумках и уловках, способный ко всем ремеслам, умевший обращаться со всякими людьми, со всевозможными вещами, любивший превращения, которые несла ему изменчивая жизнь, похожая на перемены декораций в театре. Нищету, в которую он впадал в антрактах этого жизненного спектакля, он переносил с насмешливой веселостью, свойственной писателям XVI века, и даже в самых отчаянных бедствиях сохранял чисто американскую уверенность в завтрашнем дне. Сверх того, он был большим любителем природы и тех бесплатных зрелищ, которыми она дарит людей скитающихся пешком по белу свету.

Пробродив несколько лет в окрестностях древней Трои в ленивых поисках особых наростов на местном орешнике, идущих на выделку фанеры для мебели и высоко ценимых в Англии, – Бескапе оказался в один прекрасный день билетером цирка «Олимпико» в Пере,⁷ где, в случае надобности, совмещал должность конторщика с обязанностями наездника. Здесь, получая довольно скудное жалованье, он задумал предприятие, которое в то время было новинкой. Он стал ходить по кофейням, где турки, сидя на ковриках, покуривают трубки, и стал вытаскивать прямо из-под них эти коврики, давая владельцам взамен меджидие,⁸ а несколько дней спустя перепродавал коврики туристам. Торговля пошла удачно, он приобрел самоуверенность и стал покупать на базарах уже целые кипы ковров, причем ему было достаточно только взглянуть на изнанку ковра, – так хорошо он стал разбираться в этом деле и так уверен был в лености турецких купцов. Вскоре, не довольствуясь маленьким домашним складом, он вошел в сношения с агентами в Париже и Лондоне, где в то время художники начали покупать эти несравненные изделия восточных колористов. В коврах этих, среди феерических оттенков шерсти, часто попадаются на известных промежутках небольшие пряди волос, которыми отмечается дневной урок женщин, ткущих ковры любовно, не торопясь в своих залитых солнцем домах. Благодаря этой торговле Бескапе стал почти богачом, и тут-то, вместе с солидностью, явилось у него желание самому стать где-нибудь хозяином. Как раз в это время Лестропад, директор цирка «Олимпико», предложил ему сопровождать его труппу на Дальний Восток, где он мечтал нажить большое состояние. Тогда Бескапе стал вести переговоры с товарищами, выведывать, кого не привлекает это путешествие, и красноречивой болтовней стал убеждать

⁵ *Via Condotti* (улица Кондотти) – центр антикварной торговли в Риме.

⁶ Loure – нарост на деревьях; loureur – *сборщик этих наростов*. На простонародном же аргю «loureur» означает «лентяй, бездельник». Отсюда – непереводимая игра слов.

⁷ Цирк «Олимпико» в Пере. Пера – квартал Константинополя, населенный преимущественно европейцами. Цирк «Олимпико» – название цирка бр. Франкони, вскоре заимствованное многими другими цирками и постепенно сделавшееся нарицательным именем.

⁸ *Меджидие* – турецкая золотая монета (около 8 рублей золотом).

их перейти под его начало и отправиться с ним в Крым, где, по имеющимся у него точным сведениям, цирк будет встречен весьма благосклонно.

Лестропад, от которого откололось человек десять артистов, не отказался от своего рискованного замысла. В один прекрасный день он уехал с еще довольно многочисленной труппой в Москву, оттуда – в Вятку, пересек Сибирь; в пустыне Гоби путешественники вступили в перестрелку с монголами, во время которой большая часть труппы погибла, погибли и все лошади, и только чудом удалось Лестропаду добраться до Тянь-Цзиня⁹ вместе с дочерью, зятем и еще одним клоуном. Неутомимый антрепренер приехал в Тянь-Цзинь как раз во время убийства консула и сестер Красного креста, но, не устранившись и не падая духом, снова пустился в путь и достиг, наконец, Шанхая, откуда, пополнив труппу матросами и китайскими пони, направился в Японию.

Тем временем Томазо Бескапе, закупив необходимый инвентарь, отбыл в Симферополь, где цирк его имел огромный успех. Хитрый дипломат, каким в душе был этот итальянец, догадался по приезду в Симферополь завязать знакомства с местными офицерами и поставить свое дело, так сказать, под их покровительство. Офицеры, очарованные его любезностью, живостью ума и добродушием, стали восхвалять цирк и создали ему популярность. Итальянец стал участником их кутежей, и часто ночью вся компания отправлялась будить цыганский табор, где директор цирка и офицеры просиживали до зари, глядя на пляску цыганок, среди разлитого моря *донского шампанского*, под лязг жестяных, расписанных аляповатыми цветами подносов, на которых разносилось печенье.

Во время этих ночных посещений Томазо Бескапе, всю жизнь отличавшийся влюбчивостью, несмотря на свои пятьдесят лет, воспылал к одной юной цыганке той страстью, какую способны возжечь проклятые чары этих плясуний. Танцовщица чувствовала к директору одновременно и отвращение молоденькой девушки к старику, и племенную неприязнь цыганки к *чужаку*. Авдотья Рудак, мать танцовщицы, хотя и была сводней, все же сохранила по отношению к своему чаду некоторые предрассудки и соглашалась продать старику дочь не иначе, как в законный брак, несмотря на предложенную им громадную сумму, всецело поглощавшую барыши от торговли коврами и доход первого года его деятельности в Симферополе. Старый муж был точно околдован и боготворил молодую женщину, которая вышла за него с нескрываемым отвращением и холодность которой длилась все время их брака. Мучимый ревностью, он через полгода после свадьбы покинул Крым, а когда сделался отцом, – проявил полное безразличие к детям, словно весь пыл и вся нежность его сердца безраздельно и полностью принадлежали его очаровательной жене.

Он привез свою труппу в Италию, потом почти тотчас же переправился во Францию и в течение десяти лет давал представления, постепенно, с годами, сокращая количество лошадей и наездников и сводя труппу к более скромным размерам, в соответствии с уменьшением доходов и усилением конкуренции. Во Франции он давал представления приблизительно в течение девяти месяцев в год, а на зиму возвращался на родину и работал это худшее время года в Ломбардии и Тоскане.

Томазо Бескапе был больше чем простой скоморох. Он обладал разносторонними познаниями, взятыми неизвестно откуда, случайным образованием, почерпнутым не из книг, а из рассказов людей всевозможных национальностей, которых он расспрашивал, всячески вызывая на разговор, по дорогам и в других местах; он видел на своем веку бесконечное множество самых разнообразных людей. Помимо того, он обладал еще одной способностью – даром юмора, шутливым воображением. Он сочинял комические сценки, выходявшие необычайно

⁹ Тянь-Цзинь – китайский город, открытый для иностранной торговли в 1858 году. В 1870 г. в Тянь-Цзине возникли беспорядки, во время которых все жившие там иностранцы, в том числе и французские сестры милосердия, были убиты.

забавными. И, копаясь в часы досуга в своей коллекции старых итальянских пантомим, он иногда находил им действительно изящное и остроумное применение.

* * *

Степанида, или по-французски Этьенетта, которую звали русским уменьшительным именем – Стеша, казалась еще совсем юной женщиной, хоть и была уже матерью двоих детей. Она была красива дикой красотой, полной надменной заносчивости в осанке и походке. Ее пышные, буйные волосы извивались крупными непокорными прядями над утонченным и пленительным овалом лица, овалом индийской миниатюры. В ее глазах играл темный электрический блеск; смуглый цвет лица этого мечтательного создания был слегка отмечен на щеках естественным румянцем, похожим на слабый след стертого грима, и неизъяснимо-странная улыбка временами появлялась на ее строгих губах. Своеобразие этой красоты прекрасно сочеталось с блестками, мишурой, сусальным золотом, блеском ожерелий фальшивого жемчуга, грубыми стекляшками балаганных диадем, золотыми и серебряными зигзагами на ярких лохмотьях.

Цыганка, выданная замуж за giorgio, за чужака, – что случается очень редко, – подобно своей расе, воздерживающейся в течение веков от ассимиляции с европейской семьей, осталась дочерью первобытных кочующих народов Гималаев, народов, живущих от начала мира под открытым небом и занимающихся покражами и ручным ремеслом. Прекратив всякие сношения со своими, вступив в плотский союз с христианином, ежедневно общаясь с уроженцами Франции и Италии, она держалась в стороне от мыслей, стремлений, умственных навыков, от сокровенного духа и внутренней жизни своих сожителей, мечтательно углубилась в самую себя, упорно погружалась в прошлое, благоговейно поддерживая в себе наклонности, вкусы, верования своих таинственных предков. Она жила в странном и непонятном общении с таинственным повелителем ее племени, с неопределенным и далеким жрецом-царем, отношения которого с подданными осуществлялись, казалось, при посредничестве голосов природы; она поклонялась ему в тайном и суеверном культе, беспорядочно примешивая сюда обряды всех религий, и посылала своего сынишку к церковным причетникам за святой водой, которою кропила лошадей и внутренность странствующей повозки.

Степанида одним только телом, так сказать, жила среди западных, европейских уроженцев труппы, мысль же ее всегда отсутствовала и была далеко, а большие гордо блуждающие глаза, в конце концов, всегда обращались, подобно некоторым цветам, на Восток. И Степанида была связана с новым, навязанным ей отечеством, со случайными знакомствами одними только узами – неистовым, почти животным, материнским чувством к своему младшему сыну, своему маленькому красавчику Лионелло, имя которого, сократившись, превратилось в ее устах в *Нелло*.

Впрочем, вне материнства эта странная самка, со своей беспечностью и безразличием к благам жизни, с врожденным непониманием добра и зла, с несовершенной памятью о событиях и с притуплённой способностью восприятия окружающих предметов, свойственной некоторым восточным народам, – казалась женщиной, не очнувшейся от сна и словно не вполне уверенной в своем существовании в действительно реальном мире.

* * *

Старший сын директора труппы, Джованни, – Джанни, как его звали, – обладал телосложением юноши, сквозь молодость которого начинало обозначаться выражение силы, а нарождающиеся выпуклости мускулов уже становились заметными при усилиях и движениях. На руках у него перекатывались округлости атлетических бицепсов; грудные мускулы выделялись плоскими выступами античных барельефов, и при каждом движении торса по его бедрам про-

бегала под кожей лепка глубоко заложенных широких мускульных связок. Он был высок, у него были красивые длинные ноги, составляющие красоту мужского телосложения и придающие стройным и в то же время плотным формам изящную и подвижную отточенность; упругие поверхности его ног, на икрах подобные бронзовым пластинкам поножей, нежно сужались к подколенным и лодыжкам. Наконец, у юноши замечалась удлинённость сухожилий: признак слабости у всех, признак мощи у гимнастов, – удлинённость, которая при сокращении мускула превращается во внушительную толщу.

В то время как большинство мужчин и женщин идут в этот мирок и привязываются к нему лишь по врожденной склонности к бродячей, скитальческой жизни, – Джанни чувствовал настоящую любовь, подлинную страсть к своему ремеслу и не променял бы его ни на какое другое. Он был акробатом по призванию. Он не знал усталости и охотно по первому же требованию публики вновь повторял упражнения, причем его вертящееся под шум аплодисментов тело, казалось, вовсе и не собирается остановиться. Он испытывал бесконечную радость от удачного завершения трюка, от изящества и четкости его исполнения. Он снова и снова, ради собственного удовольствия, работал над этим трюком, стараясь улучшить, усовершенствовать его, придать ему изящество, живость, волшебство, с помощью которых ловкость и проворство торжествуют над мнимыми невозможностями физического мира. Он со смешным отчаянием и огорчением искал разрешения новых, еще незнакомых ему трюков, слух о которых доходил до отцовского балагана, и упрямо добивался намеченной цели, пока не достигал ее. И первым его вопросом к актерам повстречавшейся на дороге труппы бывал всегда:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.